

Miriam M. Gumbur

Пришвин М.М. Новые места // Собр. соч.: В 8 т. – М.: Художественная литература, 1982. – Т. 1. – С. 698-731.

## **НОВЫЕ МЕСТА**

### **АДАМ И ЕВА**

(Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1909, 8, 15, 19 ноября, с подзаголовком «Сибирские впечатления»)

#### **I**

### **ВЕЧНАЯ ПАРА**

#### **1**

Ехали легкими почвами, светлыми. Целый день мелькали в окне скромные рощи у скромных ручьев, стада белых гусей на лугах, тихие заводы и поруби с последними склоненными березками. И еще ехали целый день по той же равнине. Тянулись тяжелые, жирные, черные нивы. Еще на день хватило размашистого Поволжья и прославленных Аксаковым уфимских краев. Тут уже первые уральские сопки и, наконец, самый Урал, весь Урал, как седая бровь старика.

На легких почвах – легкие копны, на тяжелых – тяжелые, солидные, в тринадцать крестцов. Просторно думается: в больших пространствах есть своя поэзия. Вспоминается Ермак Тимофеевич.

И еще много таких дней впереди, и все будет та же страна, и до конца ее я не доеду.

На Урале докашивают. Сверкает смелая привольная коса впереди, а позади смиренная женщина склонилась над скошенным хлебом. Он – косит. Она – вяжет. Вечная пара, покорно выполняющая заповедь бога: в поте лица своего добывай хлеб.

Она красива, эта пара людей, на этом поле, окруженном угрюмыми, однотонными, но выразительными старыми-старыми уральскими сопками.

И вдруг конец библейскому пейзажу. Окончена лента кинематографа.

Перед моими глазами – красный занавес с надписью: «*Теплушка для людей*». В маленькое окошко где-то высоко высунулась всклокоченная, бородатая голова и другая, в ситцевом платке; глядят, как лошади, из темной маточной на светлый двор. Лента кинематографа окончена. Занавес закрыт. В уродливое отверстие глядит та же самая вечная пара: Адам и Ева.

Кто-то спрашивает:

– Обратные?

– Нет, туда. До осени все туда. С осени до масленицы назад. С масленицы опять вперед. Назад идет, лохмотьями трясет, вшей бьет; вперед...

Я вижу в приоткрытую дверь теплушки, как Ева что-то ищет в склоненной к ней на колени голове Адама...

Занавес опять открывается: Адам и Ева, прекрасные, косят. И закрывается: возле рельсов в ожидании «теплушки» лежат грязные тела с грязными мешками. С отвращением глядят на них проезжающие, с отвращением, недружелюбно говорит о них сибиряк, и кондуктор, ругаясь, цепляет новыми сапогами за старые лохмотья.

Занавес то открывается, то закрывается. Когда он закроется, я думаю: «Почему эти же люди так красивы там, когда косят, и почему отвратительны здесь, в теплушках, в обстановке этого, казалось бы, такого красивого движения на новые места, в страну обетованную?»

Я объясняю себе так: те Адам и Ева живут в лад природы, они не начинают жизнь от себя, они повторяют вечные круги природы, став прекрасными от вечного повторения, от вечного напоминания о себе. А здесь, в теплушках, самое-то самое голое начало задуманного человеческого быта. Этих Адама и Еву бог только что выгнал из рая.

Я ехал в глубину среднеазиатских заиртышских степей, к пастухам-кочевникам. Я рисовал в своем воображении бесчисленные табуны, стада, степных всадников, перегоняющих их с места на место; старался представить себе в действительности психологию людей того мира, который для нас, горожан, существует как сказка. Мои глаза были прямо обращены туда, по краюшкам; я решил наблюдать и вечную пару Адама и Евы.

Весной в самом сердце России, в черноземных губерниях, я наблюдал, как в народе зарождаются мечты о новых местах. Там, в этой чудесной стране: картошка – двугривенный, хлеб – четвертак, мясо – три копейки; лес – даром бери. В таком смешном, съедобном стиле рисуют себе синюю птицу и страну обетованную люди земли, оторванные от нее, вот-вот только ставшие мечтателями и поэтами по необходимости.

Весною в родном краю я сочувствовал этим забавным и несчастным мечтателям, напрасно добивающимся «билета на новые места» в землеустроительной комиссии.

Теперь, осенью, я наблюдаю осуществление этой мечты. Мне кажется, если я увижу край, населенный просто сытыми людьми и здоровыми, я буду доволен.

Осенью переселенцы, убрав хлеб, едут на новые места. Я видел, как катились эти теплушки с людьми. Теперь вижу их на берегу Иртыша.

– Груз хороший, – говорит мне капитан, принимая от чиновника переселенцев, – славный груз: не подмокнет, не сгорит.

Чиновник рассказывает мне, как обширно, как хаотично это движение и как это все хорошо устроится теперь, после проезда переселенческого начальника, самого-самого главного. Везде назначены ревизоры. Приняты самые строгие меры относительно взяточничества, – бича переселенческого движения. Он показывает мне большой самовар с кипяченой водой с надписью: «*Не пейте сырой воды*». Показывает новый барак и больницу. Читает свое собственное стихотворение о переселенцах. Он либерален.

– Прослужит год-два и уедет, – говорит мне мудрый, выдавший виды капитан. – У нас чиновники не живут: сделают карьеру – и лататы. Остаются взяточники. Без этого тут нельзя, в Сибири.

И какой-то почтенный сибиряк развивает тут же свои

оригинальные, парадоксальные мысли: русский народ неземледельческий; о земледелии всё славянофилы раздули и народники; немецкие колонисты живут хорошо, русские – плохо; немцы – культурные, русские – некультурные; земледелие от культуры, значит, русский народ неземледельческий.

– Сами увидите! – напутствует он меня.

Пароход наш прекрасный, удобный. Своды Иртыша там и тут поднимаются стаи гусей, уток, лебедей; беркуты парят над степью или, большие, сутулые, дремлют на песчаных отмелях. Природа однообразная и угрюмая, но видно, что нетронутая и потому прекрасная. Спуститься к переселенцам вниз можно, только принудив себя.

Тут представители всех концов России, как кули, сложены на полу; пьяный парень с гармоникой прямо идет по телам.

– Анчутка! Анчутка! – шевелятся просыпающиеся женщины.

Таврические, черниговские, полтавские, рязанские, оренбургские...

– А есть орловские?

– Нету.

– Ка-ак нету! Мы – орловские...

Полтавские рядом с орловскими, а не знают о них ничего. То – кацапы, а эти – хохлы. И многие так, лежа друг возле друга, ничего не знают: кто он и откуда. Держатся семьями, отдельно, все со своими иногда затаенными планами. И только с внешней стороны кажется, что вся эта серая масса, объединенная одним горем, движется в одну и ту же страну обетованную.

Семья плотников. Едут целое лето. Приедут в город, заработают денег – и дальше. Их четверо, заработали много. На месте припишутся к знакомому старожильскому обществу. Вид у них бодрый, веселый.

Бочкари и овчинники – солидные люди, будущие сибиряки, деловитые, но угрюмые и строптивые.

Но эти самостоятельные люди, независимые от правительственной помощи, иногда попавшие просто случайно в общую массу, немногие. Большинство – серый, обиженный люд. Едут зря, «на волю господню». Все это – живая иллюстрация к общему закону переселения: лучшие переселенцы, это – независимые от правительства. Вся остальная масса инертна... Я вспоминаю спор двух чиновников: «Половина из них просто бродяги», – говорит

один. «Не половина, а одна треть», – оспаривал другой.

Биографии однообразны, неинтересны. И только, что вот едут они куда-то на волю божию, на риск, куда-то на Алтай, в «золотые горы», привлекает к ним участие.

Обгорелая лопата под ногами... Вспоминаю ее... Где-то видел: в Самаре, в Челябинске, в Омске? Кажется, в Омске. Мы по поводу ее долго рассуждали с переселенческим чиновником: во что обходится эта обгорелая лопата, которой сажают в печь пироги, если привезти ее из Таврической губернии на Алтай? Сколько новых лопат можно купить на эти деньги? А старый хомут? Кочерга? Связка лучинок, чтобы потом на новых местах согреть самовар? Сколько тут из-за этих лучинок, наверно, было ссор с мужьями? И вот опять эта вечная пара: хохол и хохлушка у кормы на фоне желтой сибирской степи. Он говорит с товарищами о хуторе на берегу Иртыша. А она грустно смотрит в пустую степь без деревьев, без яблонь и вишен, без мазанок белых с плетнями, без церквей, желтую, сухую, дочиста выжженную солнцем, с сухой низенькой щеткой вместо травы, и говорит:

– Як бы трошка землицы в Полтаве, так на що б я в ту бисову землю поехала!

### 3

Переселенцы уплывают вверх по Иртышу. Говорят, им будет там впереди хорошо: в долинах Алтая будто бы есть чудесные земли, почвы каштановые и плодороднейшие лёссы.

Со мной в этот степной городок Павлодар вышли немногие. Да я тут же и забыл про них, охваченный новыми впечатлениями от этого сухого края.

Знойное лето спалило листья на немногих деревьях. Еще в июле, как поздней осенью, они попадали. Ручьи, реки, колодцы, – все высохло. Пастуху это все – не беда, земледельцу – конец. Мусульманский киргизский бог прогневался на православного: многие переселенцы бежали обратно в Россию.

Обратные переселенцы, о которых столько везде в Сибири говорят, которые служат таким очевидным доказательством дурной постановки переселенческого дела, – что-то страшное, если подумать о том, чего стоит им добраться сюда. Какие они, эти степные неудачники? Правда ли все это говорят?..

Городок, куда я вышел с парохода, чтобы отправиться в глубину заиртышских степей, – весь сквозной: глаз бежит по улице в степь и по пути захватывает верблюжью голову, белую чалму, малахай, многоцветный халат и широкие, с гордостью носимые киргизами на виду ситцевые панталоны.

Городок сообщается со степью, с той стороной Иртыша, посредством «самолета». Это – плот с колесами, как у парохода, но приводимый в движение лошадьми.

Ветер – боковой. Самолет не смеет отчалить. Мы стоим у берега с раннего утра и до обеда. Вокруг нас скопляются верблюды, бараны, коровы. Сзади напирают новые стада. Быки нам давят бока своими рогами, лошади стегают хвостами по киргизским лицам, желтым, как спелые дыни. И хохот, и дикие крики, и забавное стеганье друг друга нагайками, и мудрая беседа почтенных людей на верблюжьих горбах – все это было так ново мне и странно, – в глубине сердца знакомо.

– Тпр... Тпр...

– Как, и у вас «тпру»? – спрашиваю я переводчика.

– Да, и у нас «тпру», – отвечает он.

Вот оно, это знакомое, догадываюсь я: когда-то эти степные всадники были к нам близехонько. Их острые глазки, их насмешливый вид, болтовня и вся эта хаотическая суетня и многое, что указывается чутьем, но еще не улавливается сознанием, – все это и у нас есть и только прикрыто чем-то другим.

Плот трогается. Корова падает в воду. Доски трещат.

– Ай-ай-ай. Джамантой!

– Ха-ха-ха! Верблюд падает.

– Господи! – шепчут прижатые к рулю Адам и Ева. – О, господи!

Плот кружится. Все, кто близко, лупят нагайками изморенных, вертящих колесо лошадей. И хохот, и крик. Животные падают, плывут. И так странно, что все еще эта громадная масса животных не разломит плот, что вся эта визжащая, хохочущая и кричащая бесформенная масса не рассыплется. Несмотря на всю эту нелепицу, мы едем. Одно утешение: может быть, это все с непривычки так кажется опасным, а на самом деле так оно и быть должно?

Кошка прыгнула с верблюда на лошадь, с лошади – к нам.

– Брысь!

- Как, и у вас «брысь»?
- Да, и у нас тоже «брысь».
- Во-от что!
- Вот что.

И чем ближе подплывают к нам юрты с той стороны Иртыша и новые стада, чем страшнее становится, что эти стада с той стороны непременно же двинутся на нас, когда мы причалим, и, быть может, столкнут нас в воду, чем сильнее подпирают в бока бычачьи и коровьи рога и ближе дышит сзади верблюды, тем все понятнее и понятнее то, что-то знакомое.

Да вот же оно: это – та же Россия, это – она, от нее не уедешь никуда, это – тоже свое, близкое.

Бесформенность, хаос и все-таки лик.

Вот-вот потонем.

Но плот все плышет.

#### 4

Мы едем сутки в степи, едем другие, и все оно такое же и такое сухое желтое море: как снег, выступает соль на дорогу, озера мертвые, соленые, со страшными фиолетовыми краями

Жутко: потонуть нельзя в этом сухом океане, но во если бы пешком, так все равно пропадешь, и думать об это так же страшно, как иногда глядеть в глубину с парохода хорошо, что лошадь трусит.

Все знают тут единственное дерево. Возле него ручей размыл солонец, оттого оно и выросло. Тут останавливаются для ночевки все караваны. Мы тоже останавливаемся, собираем кизяк, разводим огонь; недалеко от нас киргизы тоже разводят огонь. Месяц всходит. Вырисовываются бронзовые профили сартов и киргизов, и...

– А этот бородатый, там, у огня, с женщиной?

– Переселенцы.

Адам и Ева, – радостно узнаю я земляков.

– Вы – обратные?

– Нет, едем пошукать: нет ли тут еще где земли?

– Плохо вам?

– Плохо. Глаза потеряли плакавши. Вот...

Показывают зеленый хлеб, похожий на куски малахита. Женщины думают, страшнее этого зрелища нет ничего: и скисает, и хлюпает.

– Куда вы едете?



– В Семирек (Семиречье), там хлеба много.

– Не ездите, – говорю я, – не ездите.

Я уже говорил с обратными из Семиречья. Они едут оттуда потому, что там дико, там хлеба много, хлеб нипочем, но жить нельзя: человек из России хоть и простой, но не первобытный человек и не фантастический Робинзон Крузо. Он теперь уже не может жить на одном хлебе и бежит из диких мест. Я сам видел их, говорил с ними: там хлеб – двадцать копеек за пуд, здесь – один рубль семьдесят пять копеек, и все-таки они бегут оттуда сюда.

– Не ездите, – говорю я, – поезжайте лучше в Россию, – и рассказываю, что сам видел обратных из Семиречья.

– Так то кацапы, – отвечают хохлы, – им бы только деньги забрать: заберут – и тикать. Мы пошукаем.

Поднимаются караваны, скрипят и визжат арбы, будто сотни собак сцепились; плывут высокие переселенческие фуры по глухой, ровной, степной дороге. Соленые озера глядят глазами пустыни. Полудикие всадники...

Я сам, своими глазами, видел, как проехали два переселенческих чиновника; говорят, где-то тут близко будут землю нарезать. Видел, как они скрылись по боковой кочевой дороге, и спрашиваю себя: как же жить тут? Вот эта солончаковая земля, прикрытая галькой, желтая щетка на ней, стелющаяся полночь над ней...

Сибирь – богатейшая страна. Сибирь – необъятное пространство. Сибирь – золотое дно, страна обетованная. И вот эта степь – пустыня с мертвыми солеными озерами. Этот край, где нужно брать с собой воду, чтобы не пить из ям, где тонут степные зайцы и крысы, где вода среди лета пересыхает и колодцы становятся вдруг солеными.

Зачем же здесь Адам и Ева? Да еще кому-то они мешают: кругом стоном стоят жалобы на этих непрошенных гостей.

Трудно на первых порах утомленному переездами в триста – четыреста верст во всем этом сразу разобраться.

Пока я решаю странный вопрос так: богу наскучили жалобы вконец испорченного человека. Он сотворил его вновь и пустил опять в рай. И опять согрешил человек, и опять был изгнан из рая обрабатывать землю. Но бог забыл про малоземелье, что теперь земля уже вся занята. И вот бродят теперь Адам и Ева, ищут места, где бы лучше и скорее выполнить заповедь божию. Бродят по тундрам, тайгам и пустыням. Но и тут земля занята.

## САМОДУРОВЦЫ

Движение, движение... Когда же наконец водворение Адама и Евы? Здесь уже Средняя Азия, недалеко отсюда уже «исторические ворота народов». Места пустынные, с большими низкими звездами. Самое подходящее место для изучения жизни первых людей после грехопадения.

– Тут они, – говорят мне, – тут где-то недалеко, за той горой, в Закопанном Колодце.

Бас-Кудук, значит «Закопанный Колодец», – название местности.

Киргизы, по мнению некоторых ученых, своим творчеством напоминают греков при Гомере: они воспринимают внешний мир непосредственно и воспевают его таким, как воспринимают. На это отчасти указывают уже одни названия мест. Потеряется лошадь во время ночевки в степи – место это назовут «Потерянная Лошадь»; сломается колесо на дороге – урочище назовут «Сломанное Колесо»; попадет на глаза это колесо во время рождения ребенка – киргиз и ребенка назовет Сломанное Колесо.

Места, получившие наименование Закопанный Колодец, обыкновенно имеют современное происхождение. Вода здесь, как говорят ученые агрономы, «в минимуме»: не так почва, не так климат, как вода определяет возможность какого бы то ни было хозяйства.

И вот, когда переселенческий чиновник, проехав суток двое-трое солонцами, вдруг увидит где-нибудь в горной долине земельное «удобствие» и будет так неосторожен и похвалит его. то киргиз после проезда чиновника закопает колодцы: будто здесь воды нет. Местность потом у киргизов будет называться Закопанный Колодец.

Так это мне объясняли.

– Тут, – говорят мне, – живут переселенцы, в Закопанном Колодце, вот уже близко, вот и озеро. Большое озеро блестит перед нами.

– Пресное?

– Пресное.

– Как это может быть? При чем же тут закопанный колодец?

И вот какую повесть рассказывают мне о долине Закопанный Колодец.

– Да, это было. Колодец почему-то закопали, и место получило свое название Закопанный Колодец. Но раз как-то кочующий киргиз во время ночевки откопал колодец, чтобы попоить своих верблюдов. Из колодца побежала вода. Киргиз напился сам, напоил всех своих верблюдов, а вода все бежала. Он уехал. Вода бежала и бежала. Из закопанного места налилось целое озеро воды. Но по-прежнему осталось название Закопанный Колодец.

– Может ли быть?

– Может ли быть? – повторяет мой переводчик-киргиз. – Да, это может быть. По ту сторону озера поселился богатый киргиз, а по эту сторону – бедный. Богатый давал бедному за шерсть пасти баранов и объезжать своих диких степных коней. Бедный был очень доволен богатым, а богатый был очень доволен бедным.

– Так-таки и доволен бедный богатым?

– Так-таки и доволен. Да, бедный был доволен богатым. Они жили ладно у озера. Скоро завелась в озере рыба. Пришел русский казак и стал ловить рыбу и продавать. Богатый киргиз велел всем бедным киргизам ловить в озере рыбу и продавать одному только русскому казаку. Казак скоро разбогател. Богатый киргиз и русский казак стали друзьями, пили часто кумыс и резали баранов и жеребят.

– Русские не едят жеребят!

– Этот казак ел жеребят и очень хвалил. Пришли два русских переселенца, прогнали бедных киргизов вилами и оглоблей. Русский казак перестал ходить к богатому есть жеребят и баранов и пить кумыс. Русский казак стал заступаться за переселенцев. Богатый киргиз поехал к начальнику и давал ему пять тысяч. Начальник приехал сгонять переселенцев.

– Начальник взял деньги? Может ли быть?

– Да, это может быть. Начальник взял деньги. Но переселенцы не пошли. Начальник бранился. Переселенцы пожаловались старшему. Старший сказал: «Спасибо, братцы!» – и прогнал младшего начальника.

– А бедные киргизы?

– Они разорились и ушли в Голодную степь.

– Вот так история!

– Вот так история! – повторяет за мной переводчик.

Такие истории я уже слышал множество раз, но мало ли чего ни говорят в дороге. И я неохотно слушаю все это. Среднеазиатская степь-пустыня с этим кочевым на

родом, ведущим патриархальную жизнь, стада, бродящие по склонам гор, пастухи-хозяева в лохмотьях, с длинными палками, верхом на лошадях и это открытое большое, богатое, степное солнце – все это ново, увлекает. А тут будто мухи жужжат.

Переселенцев все бранят: сибиряки-старожилы, туземцы-кочевники. Даже чиновники бранят: им тоже не радостно селить Адама и Еву среди этого безбрежного солонцового океана, заставляя заниматься земледелием в краю, природой созданном для пастухов. Этих переселенцев, куда я еду, особенно бранили: они самовольно заняли место, они – «самодуровцы».

Киргиз мне показал рукой на какие-то траншеи у подножия гор и сказал:

– Это самодуровцы живут.

Траншеи вблизи оказались землянками, как раз такими, в которых зимуют киргизы и хоронят своих мертвецов.

– Быть может, это киргизы?

– Нет, там скота ходит, и свинья ходит.

Правда. Рядом с коровой я вижу свинью. Мусульмане не держат свиней. Больше. Все, что пожирает свинья, считается нечистым. Возле Галкита живут тысячи диких свиней, но никто их не трогает. Стоит русскому завести свинью, как живущие вблизи киргизы уходят.

Землянки совсем низкие. Их и вблизи можно принять за батарейные возвышения. Позади – безлесные горы и степь желтая. На сотни верст – ни одного куста. Отопляют здесь собранным в степи навозом. С этой стороны хорошо, но радоваться нечему. Степняк может радоваться, заезжий путешественник; но как жить русскому без березки?

Вместо церкви – фантастические черные горы из разветренного гранита, дикие, с капризными, разбегающимися, как облака, фигурами.

Горы растут, черные фигуры превращаются в разных пугающих диких зверей. Но землянки все такие же низкие.

Переезжаем пересохшую речку. Вечереет. Блестит рыбное озеро, розовым подчеркивая синие горы. На той стороне, как нефтяные цистерны, белеют юрты богатого киргиза. Здесь, но эту сторону, – землянки казака-рыботорговца, и вот тут переселенцы.

Мужик пашет, поднимает новь, – настоящий русский мужик, настоящим плугом. Другой возвращается с поля.

Женщина гонит корову. Землянок – шесть или семь, но только две жилые и курятся, остальные покинуты. Хозяева умерли, или вернулись в Россию, или, может быть, отправились куда-нибудь «шукать» землю в «Семирек».

Эти низенькие землянки теперь, вечером, когда уже над пустынной, девственной степью зажигаются низкие звезды... И эти одинокие люди, пахарь и женщина, здесь, за тысячу верст от железной дороги, за тысячи – от родины...

Что-то такое поднимается: не то детские мечты о жизни Робинзона Крузо, не то юношеские – о толстовских колониях... Не то вся эта русская мечтательная дума красиво и хорошо из ничего начать.

Но голое начало всегда некрасиво. Этот плуг, красиво поднимающий новь, скован чужими руками. Вот и этот светлородый мужик похож уже не на Робинзона, а на босяка или бродягу, бегаёт-бегаёт глазами, так что думаешь: «Сейчас бросит все и в «Семирек» убежит». Другой, чернородый, постепеннее, посолиднее. Женщина...

– А где другая женщина? Или холостой? – спрашиваю я светлородого.

– Другая женщина, – отвечает он, – дите родила, лежит.

– Как же крестить-то? – любопытствую я узнать, как первые люди, изгнанные из рая Адам и Ева крестят в пустыне детей.

– Как крестить? Да так. Когда-нибудь перекрестим... Не ловить же в сети попа за бороду.

Весело хохочут все, даже киргиз, мой спутник, и женщина. Юмор никогда не оставляет русского человека.

– А женщинам не жутко?

– Без попов-то? На что их. Женщинам одно только плохо: мамушки далеко. Ну, а как сказать, мужчина о том не вздыхает.

– Заходите в избу.

Все влезают в землянку.

Я прощаюсь на всю ночь с этой степью-пустыней, которую успел уже полюбить, прощаюсь с фантастическими черными горами без деревьев, с висячими низкими звездами и влезая в землянку Адама и Евы.

– Ну, рассказывайте же, как, за что, почему вы попали сюда.

– Я, – начинает светлородый, – можно сказать, всю Сибирь исходил и только в Семиречье не бывал, я все виды видал и никакого начальства не боюсь.

Черный тоже не боится: он перед самым Куропаткиным «во как стоял».

– Да бросьте начальство, расскажите о себе, как вы странствовали и что видели в России и Сибири.

Чешутся в затылках, поглядывают друг на друга, прилаживаются, с чего и как бы лучше начать.

– Тут все пересказать, – начинает чернобородый, – так уши развесишь. Ну, так сказать, у этого человека граммофон был.

– Граммофон!

– По-го-ди! – перебивает светлобородый. – Поехали мы сюда на первых колесах. Ходоки нас ведут, говорят: «В Заводную степь, – мол, – едем». Мы их это пытаем: «В какую, – мол, – такую Заводную степь?» «Сами, – говорят, – удивляемся, почему так называется. Но только по живой рубеж мочи нет хорошо, и посередке чистый-пречистый ключ бежит». Весело, ну, прямо, весело едем. В городе к начальству являемся. «Вы, – спрашивают, – в Заводную степь едете?» Мы отвечаем: «В Заводную степь желаем ехать». Выдали нам денег по сту рублей. Приезжаем на место, видим, все как говорили, земля не то чтобы наша, потоньше, но ничего, все как говорили ходоки: и живой рубеж, и все. Потом хватились, а ключа-то нет?! Мы ходоков жать: где ключ?! «Не сумлевайтесь, – отвечают, – где-нибудь да есть». Искали день, два... Что за притча, – нет ключа. Вовсе воды нет...

– Куда же она делась?

– Сами удивляемся, куда делась вода. Нету воды. Стали глядеть, нет ли тут где поблизости места. И полюбилось нам, собственно, вот здесь: озеро рыбное, земля не то чтобы, а – луг, и ярмарка близко. Но только одно: тут киргизята живут. Как тут быть?

Светлобородый рассказчик остановился, поглядел на чернобородого. Оба как-то неловко поглядели на моего переводчика-киргиза, еще раз поглядели друг на друга и фыркнули, как маленькие дети.

– Ну, конечно, у меня вилы, – сквозь смех сказал чернобородый. И опять фыркнул.

– А у меня, так сказать, оглобля, – сказал светлобородый.

Оба опасно поглядели на гостя-киргиза, но тот, глядя на их рожи, тоже засмеялся.

Тогда все дружно захохотали. И так это щекотливое

и трудное место рассказа прошло весело и приятно, что я не подумал о своей легенде, о том, как богу наскучило потомство первых людей, и как он сотворил вновь Адама и Еву, и как опять их выгнал, забыв про то, что земля занята другими.

Все это я и забыл: вилы и оглобля мелькнули, как веселый анекдот.

– Да, – продолжает рассказчик. – Приезжает к нам после того начальник. Нам бы следовало начальство, как следует, в строгости принять, а мы граммофон завели. Граммофон играет плясовую, начальство радуется: «Я, – говорит, – думал, вы тут с голоду помираете, а у вас – граммофон. Недурно, недурно, очень недурно у вас». А мы ему на это: «Ваше благородие, мы начальство всегда в веселом духе встречаем; а вот насчет киргизят-то подписали бы нам бумажонку...» – «Давайте, – говорит, – бумагу...» Мы туда-сюда: нету бумаги.

– Моя жена... – вставил чернобородый.

– Собственно, чрез вашу жену, – строго сказал светлобородый, – и вышло все. Их жена, – обратился он ко мне, – за коровой ушли и унесли ключ от сундука. А в сундуке бумага была. Ведь вот бы этакий клочок бумажки, папироску свернуть, так ничего бы потом и не было. Поискали мы, поискали. «Нет, – говорим, – ваше благородие, бумаги, женщина ключ унесла». – «Нет? Ну, ничего, можно в другой раз написать». И уехал.

Хорошо. А те киргизята, что на нашем месте жили, все не понимают: «Вы, – кричат, – нас разорили, кормите теперь». Ну, конечно, мы им надавали хороших лещей. Они – за озеро, к богатому киргизу, волостному управителю, жаловаться. Человек тот – богатый и умственный; они промеж него как барашки живут.

«Ладно же, – говорим, – вы своему царю жалуетесь, а мы – своему. Я тут хлебопашеством занимаюсь, а вы – баранами; я не для себя делаю, а для правительства».

Приезжает и наш управитель. «Как хотите, – говорит, – уезжайте, участка нет на плане; я пять тысяч на начальство не пожалею, а вас сгоню». – «Ладно, – отвечаем, – ты с пятью тысячами, а мы с дурной головой мужицкой».

Мы свое, а они свое тарахтят.

Так, господин, тем временем мы кое-как землю расковыряли и посеяли пшеницу, и уже поспеваает. Катит к нам переселенный начальник с казаками и киргизами:

«Убирайтесь!» – кричит. «Ваше благородие, – говорим мы, – вы сами же нам разрешили жить и еще бумагу спрашивали». Знать ничего не хочет: орет. Мы ему опять тут его же словами все рассказали и про бумагу помянули. И тут он нас такими словами стал лупить, что если бы тут убить его, то и не ответили бы. «Бейте их, – кричит он киргизам, – жгите их!»

Мы сейчас, не будь дураки, эти его слова – да на бумагу, и казаков, и киргизов прижимаем. Слышали? Подписывайтесь! Он сробел, а у нас духу прибыло.

После этого вскоре приезжает на ярмарку самый главный начальник. Мы ему все рассказали: как нас ходоки обманули, как мы землю заняли, и про граммофон, и про бумагу помянули. «Мы, – говорим, – ваше превосходительство, не для себя живем, а для хлебопашества и, так сказать, для правительства». – «Спасибо, братцы, – отвечает он нам, – не бойтесь никого, живите себе».

Вскоре межевой приехал, нарезал нам земли вволю: куда глаз хватит – все наше...

– На две семьи столько нарезали? – не доверяю я.

– Зачем на две; разве нас двое было.

– Где же те?

– Разбежались. «Земля, – говорят, – тут тонка, засуха я иней среди лета падает».

– А киргизы?

– Киргизят мы, как маленьких ребят, жамочками кормим.

На этом рассказчик окончил, и все мы улеглись спать в этой землянке на новых местах. А утром, записывая рассказ, я спросил, что это за «жамочки», которыми они кормят киргизов.

– Жамочки! – засмеялись самодуровцы. – Вот...

Мне показывают рукой на степь, на луга, на все это громадное количество солонцовых степей, непригодных для земледельцев, но нарезанных исключительно потому, что участки чернозема лежат между ними. Места совершенно непригодные для земледельца, но необходимые пастуху вот эти-то места и отдают переселенцы в аренду согнанным киргизам «двадцать пять рублей за клочок» и называют это «жамочки».

– И ничего они? – спрашиваю я, удивляясь.

– Ничего. Маленько потопчут, когда наши огороды, ну, мы им тут лещей надаем; они и перестанут. Мы им говорим: «Занимайтесь хлебопашеством, собирайтесь в поселки». –



«А ежели, – отвечают они, – мы поселками будем жить, так нас в солдаты заберут и в свою веру перекрестят». На это мы им отвечаем тоже: «У нашего государя гонения за веру нет, не то чтобы по прочим государствам».

### III

#### АРКА

Беда тому, кто приедет в Сибирь с обычным представлением о пространстве, с привычными мерами его и, значит, времени. Масштаб тут приблизительно такой: у нас десять, у них – сто, у нас – двадцать, у них – двести и т. д.

Я проезжаю пустынную степью на протяжных верст шестьдесят в день. Проходит так день, другой, третий, четвертый...

Небо и желтый сухой океан. Потом еще горы, синие палатки или черные окаменелые волны, если подъедешь поближе. Почва все солонцовая. Растительность: низкая полынь, травка «кипец», или «щетка» в несколько вершков высоты, похожая на аптекарскую банную мочалку.

Земля пропитана солью, белые пятна солонцов будто снег. Слой гальки везде покрывает почву.

Иногда, потеряв эту плохо заметную кочевую или, как говорит киргиз, мой проводник, «кочующую» дорогу, мы останавливаемся и ждем подъезжающего к нам всадника.

– Эй, бер-ге-ле-гет! – зовет его проводник. – Поди сюда.

Тот замечает русского и удирает.

– Берге, берге, берге! – напрасно кричит проводник. Тот улепетывает.

– Берге-пкечь, берге-пкечь! – надрывается проводник.

Верховой останавливается на недостижимом расстоянии и спокойно нас наблюдает.

Обычно же у киргизов не только люди, но и лошади останавливаются при встрече в степи.

Мы идем к аулу. Голые ребяташки, завидев нас, прячутся. Словом, «о-орос» (русский) пугают маленьких

детей, как у нас волками. Мы подъезжаем к аулу, спрашиваем: дома ли мужчины?

– Джок (нет), – слышится женский голос из юрты.

Но мужики, конечно, дома.

– Джок, джок...

Пустынные степи и вот эти напуганные люди. Трудно представить себе душевное состояние образованного человека, которому поручено здесь во что бы то ни стало найти земли, удобные для водворения странствующих, ищущих приложения труда Адама и Евы.

Раз мы увидели в степи две белые точки и подумали: вот чайки, наверно, уже близко озеро. Немного спустя две чайки оказались белыми палатками. Был конец сентября, стояла страшно холодная погода с ночными морозами до 10 ° R и снежными буранами. Кто же это может жить в таких легких палатках?

И оказалось, тут живут две петербургские барышни, студентки политехнического института. Они – топографы, нарезают участки для переселенцев. Барышни в своих ватных кофточках страдают от холода, торопятся поскорее закончить работу и уехать в Петербург. Они получают сто рублей в месяц. Погоня за заработком загнала их так же, как и Адама и Еву, в эти дикие, пустынные края. В другом месте мы встретили семинаристов, технологов. Из-за заработка они стали топографами и гидротехниками.

– Что поделаешь, – говорят они, – кормиться нужно; а так дело это безобразное...

Но не только молодежь смущается своим занятием, но и заправские чиновники говорят очень часто, что они тут ни при чем. Движение все направляется из Петербурга, в конечном счете каждый переселенец получает место здесь по назначению из Петербурга. Даже ходоки и те направляются в заранее намеченные им места.

Мне объясняют, что мест этих очень ограниченное количество и нелегко получить их: большая конкуренция.

Чиновники не сочувствуют переселению в этот горный степной край, созданный богом для пастухов, а не для земледельцев.

– Переселение сюда, – говорят мне, – совершается для политических целей: киргизы – народ неблагонадежный. – Для политических целей! Но вот которые сутки уже я еду в степи вдвоем с киргизом-переводчиком. И в голову мысли не приходит, что кто-нибудь может на меня напасть. Напротив, я, русский, – пугало для края.

Пожимают плечами, улыбаются, шутливо рассказывают про какой-то обед двух губернаторов, на котором был поставлен вопрос: благонадежный ли народ киргизы?

Неблагонадежный? Ну, хорошо. Но при чем же тут Адам и Ева? Какой они совершили такой новый грех, чтобы их изгнать в эту пустыню? Они ищут землю, а им дают оружие! Какое оружие! Чтобы киргизов прогнать, нужно только свинью завести. Что свинья понюхает, то киргиз по закону должен бросить. Возле свиньи жить ему нехозяйственно. Самое первое оружие против киргиза – свинья.

## 2

Четыре месяца – ни одного дождя! В наших земледельческих местах был бы страшный голод, а тут не очень и жалуются. Кони ходят сытые, бараны жирные, колышут курдюками, как резиновыми подушками. Они питаются этой низкой, сухой, но очень сытной травой кипец, имеющей здесь, в степи, такое же значение, как ягель в тундре.

Но мало того, что скотина только сыта. Этот край безводный, безлесный и соленый по-киргизски называется «Арка», – значит, «хребет», «пуп земли», лучший край на свете, осуществленная Аркадия.

Взволнованная желтыми сопками степь здесь иногда переходит в довольно высокие горы из сильно разветренного гранита. На возвышенных горных долинах есть тут места чудесные для зимовки скота (кетау). Ветер сдувает снег с горных мест, скоту не нужно делать больших, истощающих его в зимнее время усилий, чтобы добыть себе пропитание. На этих кетау и трава растет прекрасная, почва на них плодородная. Вот в этих-то местах и заключается разгадка этого странного для всякого проезжего человека вопроса: как могут киргизы называть эту пустыню Арка? Если есть такие убежища для зимы – кетау, то летом вся остальная степь представляет сплошное пастбище, джайлоу. Только благодаря этим кетау, этим пятнам плодородной земли, можно использовать степь-пустыню. Пока летом скот пасется на джайлоу, на местах зимовых стойбищ вырастает новая трава и обеспечивает сохранение скота зимой.

И вот эти-то кетау отбирают от киргизов и селят на них Адама и Еву.

Хорошо ли они там живут – другой вопрос, но киргизы

разоряются. Степи при земледелии должны остаться неиспользованными.

И Дума, и правительство это сознают: есть указ 3 июля о том, чтобы щадить места киргизских зимовок.

– И вы их щадите? – спрашиваю я местного чиновника.

– Если щадить, – отвечает он, – то куда же девать переселенцев? Тогда и не нужно переселение в этот край. Мы так и сказали. Нас услышали и подарили параграф. Теперь дело в таком виде:

Закон: щадить места зимовок.

Параграф: в случае крайности не щадить.

И мы не щадим.

Можно понять аскета, попирающего закон природы для приобретения сознания бессмертия своего духа.

Но когда речь идет только о насыщении Адама и Евы, об их физическом благополучии, то попираание законов природы – очень нехорошее дело.

Можно понять и почему с богатых, удобных для земледелия мест Акмолинской области русские гонят киргизов и ставят им ультиматум: «Селитесь поселками, как мы, так выгоднее использовать землю: на одном и том же месте прокормите большее число людей».

Но почему места, предназначенные природой для пастбищного хозяйства, населяются земледельцами, трудно понять.

И никто не понимает, к кому я ни обращался.

Разоренные нашествием русских, киргизы бегут в свою Аркадию, страну пастухов. Здесь мясо чудесное: два фунта каркаралинского равны пяти фунтам петропавловского. Здесь кумыс такой, что люди пьянеют, как от водки, а в Петропавловске – как вода.

Ну, и живите в вашей Аркадии, – вот что нужно бы сказать.

Нет, их и отсюда гонят. Аркадия, мол, велика. Она тянется вплоть до Голодной степи, где летом только кулоны (дикие кони) перебегают от оазиса к оазису. Пусть они уходят туда. И в самом деле, зимой и туда проникали киргизы. Питаясь кусочками сухого курта и айраком, киргиз может жить там, где невозможна никакая мысль о земледелии.

Купцы, ведущие торговлю со степью, все против земледелия в этом крае; они говорят:

– Никогда здесь не может исчезнуть кочевник-киргиз, никто его не может сменить в этом занятии. Киргиз может жить вовсе без хлеба, питаясь молочными продуктами.

Люди бывалые говорят:

– Венгрия – культурная страна, но венгерцы же гордятся своими табунами. Земледелие не обязательно.

Маленькие местные чиновники, изучившие язык и быт киргизов, говорят:

– Понаблюдайте у киргизов переход от пастушеского быта к земледельческому, и вы увидите, сколько человечество потеряло, если оно когда-то все вот так оседало, как эти киргизы-джетаки.

Я наблюдал джетаков. Они здесь – первые земледельцы, не назначенные из Петербурга, а естественно возникшие по законам природы.

И как жестока она, природа, к этим людям, променявшим кочевую жизнь на оседлую, к этим лентяям (джетак – лежит!) в сознании кочевников, и пролетариям, как мы называем.

Но чтобы понять, почему так презрительно киргизы-кочевники относятся к джетакам, нужно знать, что такое джайлоу.

Всякий киргизский *акын* (поэт) непременно сочиняет стихи о джайлоу. Поездка на джайлоу (пастбище, спокойствие, отдых) для киргиза есть все. Ночуя иногда по необходимости во время бурана в киргизских зимовках, этих конурах из земляного кирпича, задыхаясь в дыму от костра из навоза, искусанный насекомыми, я представил себе, что чувствует кочевник, когда весной эта «могила», как они называют, вдруг становится не нужна, спадает эта глиняная и навозная скорлупа, человек выходит со своими стадами на пастбище...

– Руки, ноги здоровы? – приветствует один киргиз другого. И потом сейчас: – А скот здоров?

Скот – главное. Человек-то перезимует, но скот не всегда: если будет гололедица, то наступает джут (мор), животные режут себе ноги, разбивая лед, и умирают...

Бедняк иногда лишается почти всего скота. Ему, пожалуй, и незачем и не с чем кочевать на джайлоу. Он не кочует, «лежит», он джетак, он ковыряет землю, сеет пшеницу и добывает семена, не мея их, жарит на сале и ест свой «бидай».

Джайлоу, – значит, простор, свобода, значит, движение. Так прославляют поэты свою весеннюю кочевку. Джетак, – значит, лентяй, лежит; в этом слове заключается смысл презрительный: «лежишь, ну, и лежи».

Такое отношение поэтов к своим обедневшим собратям, конечно, не очень нравственное, но что поделать, если одно – красиво, другое – отвратительно.

Естественное начало земледелия в этом краю, так же, как и искусственное, некрасиво.

Всякий, кто ночевал в ауле кочующего киргиза и слышал ночью спящие стада, – не то шум реки, не то поезд вдаль, не то шелест множества идущих людей по песку, – кто видел киргиза, выбирающего для заезжего гостя лучшего барана, и потом попадет к джетакам, первым земледельцам, ужаснется.

Он увидит голодные рты, волчьи глаза, уйдет от них обманутый, обворованный, унеся впечатление величайшего падения человеческого существа.

Все лучшее, что дает родовой строй, – гостеприимство, эту радость приезду чужого, ничем как будто не нужного им человека, – здесь вырождается в свою противоположность: воровство.

Навоз от животных, который при перекочевке остается в степи, высыхает и дает потом топливо, здесь скопляется возле аула. Скот и люди насиживают место, грязнят его, сами грязнятся и, оборванные, смердящие, встречают гостя, щелкая зубами и косясь глазами на его сухари; они все разворуют, если на минуту оставить вещи в ауле. Так встречают они гостя. И когда тот, оборванный, материально равный им, попросит у них есть, они дадут ему горсть жаренной на сале пшеницы.

«Вот эта-то горсть пшеницы, – подумает тогда гость, – и есть факт грехопадения кочевника».

Говорят, что лет пятьдесят тому назад или немного больше в этой киргизской Аркадии пастухи и лето, и зиму жили в юртах и *кошах* (палатках), не разлучаясь со своими стадами. Да и теперь сохранились старики, – а подальше, к Балхашу, их много, – эти старики зимуют в летних юртах и говорят: «Живой не хочу лезть в могилу». В то время, говорят, и стада были лучше: хозяева, не прикрепленные к месту зимой, могли лично наблюдать скот и не поручать это дело особому лицу. Очень возможно, что в то время киргизы в некоторых местах вовсе не знали, что такое мука, понятия не имели о *баурсаках*, этих мучных шариках,

зажаренных на бараньем сале. Теперь без этих баурсаков не обходится киргиз. Разве только где-нибудь возле Голодной степи все еще питаются киргизы исключительно куртотом и ойраном.

Шарик вкусен. В этом – прогресс, но вкусивший его пастух почему-то совершает грехопадение.

Есть ли на свете быт более безобразный, чем этих джетаков, первых земледельцев в краю. Голое начало оседлой жизни при взгляде на них кажется отвратительным, и невольно приходит в голову: а что, если в самом-то начале все так оседали? И сам собой напрашивается общий закон переселения: раз начало оседлой правильной и хорошей жизни выходит не из пустыни, раз природа всячески борется с оседлостью, то те будут лучше здесь жить, кто дальше в глубину истории своего народа может отнести это начало. И потому-то лучшие переселенцы – немцы. Но зачем попадут сюда они, в эту киргизскую Аркадию, Каркаралинский уезд?

### ПЕРВЫЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

(Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1909, 17 апреля)

Авель стерег стада,  
Каин был земледелец.  
*Из Книги Бытия*

Поздней осенью, перед самой зимой, степь опять зеленеет. Наверху журавлиный крик: птицы улетають на юг. Внизу блеют козлы и бараны: кочевники едут на зимнее стойбище.

Ветер, наш третий неизменный товарищ, отбегает за гору и встречает нас на той стороне: катит перекасти-поле, черное, круглое, жутко одинокое. Белые юрты движутся с летних пастбищ на осенние, с осенних к черным землянкам, похожим на степные могилы, – зимним стойбищам.

Теперь, осенью, кажется, будто в степи два игрока забавляются игрой в черные и белые кости и игрок с белыми все проигрывает и проигрывает. Настанет время: во всей степи не будет белых юрт, а только могилы и зимовки. Мало, совсем мало осталось здесь стариков, которые, помня счастливый золотой век, остаются зимовать в юртах. «Не хотим, – говорят они, – живые лезть в могилу».

Мы едем будто в стране Авраама: на тысячи верст тут живут одни пастухи. Мы у источника красивых и горьких иллюзий.

Вот бронзовый пастух, весь в лохмотьях, едет шагом верхом на лошади и напевает. А бараны под песню пощипывают на ходу низкую, желтую, сухую траву.

– Жирейте, мои бараны, и потягивайтесь, – поет пастух.

– Мы жиреем и потягиваемся, – отвечают бараны.

– Пеняйте на себя, если не разжиреете, – напевает пастух.

– Будем пенять на себя, – отвечают бараны, конечно, голосом того же пастуха.

Позвякивают струны домбры. Тихо ступает лошадь под песню о добром пастухе и счастливых баранах. Кто за кем идет: пастух за баранами или бараны за пастухом, – не понять.

– Где аул Джонжи? – спрашиваем мы пастуха.

– На осеннем пастбище, – отвечает он и указывает своим бронзовым подбородком. – Там, за сопкой Маира.

Это не близко. Киргиз указывает подбородком в такую даль, что сарт, по степной поговорке, может ехать два дня.

– Чу! – подгоняем мы лошадей на гору. Взбираемся вверх, спускаемся вниз в долину, опять в гору, опять в долину, а сопка Маира все далеко.

Степные горы похожи на волны, и совсем будто море, но только ветер напрасно свистит – волны не катятся. Перекати-поле взлетает вверх и снова летит вниз. Начинается буран.

С горы нам видно, как на той стороне широкой долины пылит верблюд, а за ним несется пыль, будто огромный желтый кометный хвост. Нам не миновать его, заранее закрываемся халатами и гоним лошадей. Душит. Спешим скорее обогнать верблюда.

– Кто едет? – спрашиваем седока.

Едет сарт с шерстью. Он нездешний и не знает аулов. А впереди новый кометный хвост, и опять мы обгоняем и спрашиваем:

– Где аул?

– Далеко, – отвечают, – на осеннем пастбище. Мамырхан перекочевал, Ауспан перекочевал, нет близко аулов, зимовок и даже могил.

Над долиной, где мы ехали, спустились тучи, как темные волосы; вечерело; впереди горела степь, будто



сотни волков, сверкая глазами, шли в одну линию нам навстречу.

Мы стали искать для ночлега горную трещину и вдруг увидели спокойный огонь. Кто-то жил внутри этого хаоса, прислонив к горе землянку. Перед входом лежали бык и верблюд. Внутри этой кротовины на земляном полу, возле пылающих шариков конского навоза, сидели мужчины и женщины, такие старые, будто они тут были со времени изгнания из рая первых людей. Наш случайный спутник, еврей-скототорговец, увидев их, стал молиться и восхвалять бога.

– Все правда в Талмуде, – бормотал старик, – и нет ни одного слова неверного: и степь, и горы, и огонек, и люди, как Адам и Ева.

Первые люди поставили перед нами чашку с зернами жареной на сале пшеницы.

– Земледельцы!

– Джетаки, – сказали спутники, – лежат, не кочуют.

И стали под свист бурана рассказывать, как в степи разрывается обычный круг кочевого года и по ту сторону общей жизни остаются эти первые земледельцы, джетаки...

– Все как в Талмуде, – повторил еврей.

В степи поэт начинает весну. В темной кротовине, сидя на корточках у костра, он поет, что слышит движение творческих сил в земле. Тают ледяные сосульки на окне, и свет проникает в землянку. Видны месяц, звезды и все светила небесные. И так исполняется библейское: «Да будет свет!»

Шумят весенние потоки: суша и вода отделяются. Птицы летят, неустанно разговаривая: стрепет звенит крылом, копчик и пустельга дрожат в воздухе. Суслики поют у нор. Каждая сопочка зеленая стоит. В землянке после поэта будто бы первая видит весну мышшь. Она взбирается на горб верблюда и пищит, что видит весну.

И выходит человек, и видит, как при входе в рай, что все хорошо. Говорят, будто тут ему богомолка с ветки зеленой спаржи мохнатой лапкой указывает путь на летнее пастбище.

Караван идет окруженный животными. Впереди на лучшем аргамаче едет самая красивая девушка аула в алой одежде, в шапочке, отороченной соболем и украшенной совиными перьями. На стоянке она вдруг стегает своего коня и мчится вся в красном по красным цветам, как огненный пал по суходолу. Джигиты хотят догнать ее

и коснуться рукой ее груди. Но девушка извивается, как ящерица, хлещет джигитов нагайкой прямо в лицо и скачет дальше, на край степи.

Кровь бежит по лицам. Нелегко догнать красавицу только один, самый ловкий, достигает своего, и девушка едет с ним покорная, как после ночи бессильная луна. Тогда даже подвижник пустыни верблюдов сходит с ума. И вереницей тянутся в святые горы бесплодные женщины ночевать там и просить бога послать им этой весной деток. Великий Худай всем посылает, и все радуются и множатся. Проходит весна, лето, и опять от аула к аулу, от зимовки к зимовке, от могилы к могиле катится, как черный грех, перекаати-поле.

– Знает великий Худай свои дела, – говорят старики земледельцы, потерявшие пастбище.

И рассказывают эти старики о страшном годе Зайца, когда они лишились скота, и не могли уж больше весной выехать на летнее пастбище, и остались в своей зимовке на вечные времена в поте лица обрабатывать землю.

В год Зайца великий Худай послал джуг: степь заледенела, скот, добывая из-под льда траву, резал ноги, худел без пищи и падал. Буран подхватывал животных и гнал, как перекаати-поле, из края в край. После бури при солнечном свете из трещин гор выходили волки, слетались вороны, стервятники и сороки. Вся степь была покрыта трупами. Был вой, и карканье, и стрекотанье, и последний ужасный рев.

Великий Худай не совсем погубил бедных людей, приютивших нас во время бурана, оставил им одного быка и верблюда, чтобы в поте лица обрабатывать землю и сеять «бидой» (пшеницу).

Так рассказывали нам в землянке под свист бурана люди, знающие степь, и старики, испытавшие на себе год Зайца.

– Как в Талмуде, – повторял еврей, – там нет ни одного слова неверного.

Пищали мыши, жевал бык, сопел верблюд, – все живое, что осталось с этими людьми по изгнании их из рая.

И трудно было представить рай нам, утомленным дорогой, изгнанным очень давно, никогда и не видавшим летнего пастбища кочевников. И нельзя было представить себе землю, где можно бы быть просто счастливым и не вспомнить: «В вас самих царство божие», а не в земле.

Но эти люди были уверены, что вот за сопкой Маира,

куда мы чуть-чуть не доехали, где совсем недавно они кочевали, и находилась земля обетованная.

– Арка, – говорили наши Адам и Ева, – тут хребет земли, это и есть *та* земля.

– Да почему же она Арка, почему Аркадия? – спрашивали мы.

– Баранина жирная, кумыс пьяный, хлеба не сеют и не едят, – ответили первые земледельцы.

\*\*\*

Утром после бурана степь еще позеленела. Позднею осенью степь-пустыня оживает на короткое время. Раздвигались на небе хмурые морщины. Солнце всходило. Ложились на небе золотые борозды.

У озера кто-то размахивал белым. Мы подумали: «Это охотник втрапливает белого кречета». Стали дожидаться полета птицы. Но охотник все махал, а кречет не летел. Старик джетак рассказал нам про охотника: это – его помешанный зять; раньше у него были несметные стада гнедых лошадей, но в год Зайца великий Худай отнял у него все и указал ему жить в землянке и обрабатывать землю. Гордый человек сказал на это: «Не хочу жить живой в могиле», – и поселился в трещине горы. За это великий Худай лишил его рассудка: раньше он был первый охотник с белыми соколами и кречетами, а теперь, когда видит уток на озере, выходит из трещины и машет белой шапкой, как кречетом.

– Ой, Алла! – вздохнул старый Адам.

И ему ответила Ева совершенно так же:

– Ой, Алла!

Мы хотели с ними проститься, но они пожелали проводить нас на пастбище, показать нам счастливую страну за сопкой Маира. Стали укладываться и собираться, как весной на кочевку. На горизонте везде, как бисерные нити, тянулись журавлиные стаи. Над нами старые журавли учили молодых строиться в треугольники и уводили полк за полком в теплые края. И мы тоже, как журавли, осенью собирались ехать куда-то на пастбище.

– Чок, чок! – крикнула женщина на верблюда.

Он нехотя и с криком подогнул колени. Женщина села верхом и, держась за худой горб, крикнула:

– Чу!

Верблюд поднял женщину высоко над землянкой.

Старик сел на быка.

Наши лошади трусили скорее верблюда, а бык от всех отставал.

– Чу, чу! – хлестал старик быка, тоже трусил и, нагоняя нас, говорил свою степную поговорку:

– Если товарищ твой кривой, старайся поджимать глаз, чтобы быть с ним под парю.

## У ЧЕРТОВА ОЗЕРА

(Степной эскиз)

(Впервые опубликовано: «Русские ведомости», 1910, 25 марта)

Чтобы не уморить лошадей в степи на протяжении, едут размеренной трусцой от колодца к колодцу. Мы едем так как нужно ехать, и потому кажется, будто днем и солнце идет по небу, как мы, а ночью так же движутся звезды. Степь за Иртышом, если ехать к Балхашу, вначале такая ровная, дорога такая гладкая, что вода в ведре, привязанном к дрожине, не расплескивается. Если непогода заставит нас укрыться в зимовке кочевников или в озерных камышах, то потерянное время мы набираем лунной ночью.

Раз после такой ночной езды, мы увидели горизонт не таким правильным, как раньше. Казалось, будто кто-то неумелой рукой ножницами обрезал круглый, как сковорода, круг горизонта. Скоро и под нами степь взволновалась.

– Чу, Карат! Чу, Кулат! – подгоняли мы лошадей с сопки на сопку.

Степь стала волнистой, как море в мертвую зыбь, езда неправильной. Мы поднимались все выше и выше; каждая сопка давала что-нибудь новое. И так наконец показались настоящие степные горы, будто взмахи окаменелых и наказанных волн.

Здесь все еще выступала на землю соль и белела на дороге, как снег. Но уже бежали с гор пресные ручьи, уже стала по краям показываться какая-то древесная щетина. Выше, будто воткнутые стреляя, стояли на голых камнях сосны. Еще выше, на разломанных скалах, рос настоящий лес, блестели горные озера. Отсюда далеко вокруг было видно желтое море степи и на нем везде такие же горы, будто синие палатки. Казалось, мы приехали в страну великанов, кочующих в этих синих шатрах.

В глубине одного из таких оазисов с пресной водой и лесом укрылся маленький город Каркаралы – куча серых деревянных домов, похожих на осыпавшиеся с гор обломки гранита.

Вот тут-то и есть страна пастухов Арка, что значит с киргизского «Хребет земли», благословенная страна, которой не хватает всего только трех букв до настоящей Аркадии.

## II

Я остановился на почтовой станции возле площади. Из ряда домов выделялось каменное здание уездного правления с двумя небольшими пушками, о которые терся верблюд. На самой площади было множество баранов, вокруг которых, прямо на земле, сидели киргизы, болтая и пощупывая жирные курдюки. Всадники, окружающие баранов и сидящих на земле людей в халатах, время от времени слезали с лошадей и тоже пощупывали и похлопывали баранов. Красивые сарты-торговцы, муллы в чалмах, женщины на деревянных балконах и сосны на высоких, врезанных в сентябрьское небо утесах – все будто беседовали с баранами. А они, горбоносые, подставляли общему вниманию свои курдюки.

Под вечер я вышел из дома почтовой станции пройтись в горы и посмотреть на все это сверху. Но горы только казались близкими. Я забыл и про то, что смеркается здесь быстрее, чем у нас. Я только стал было подниматься, и вдруг смерклось, словно моргнуло, и наверху у острия камня, похожего на орлиный клюв, заблестела звезда. Я повернул назад, и когда входил в город, все звезды были на небе, стало совсем темно.

Кажется, в этом городке есть и вторая площадь, и я, вернувшись с гор, вероятно, попал на эту вторую: почтовой станции тут не было. Я шнырял из конца в конец; верстовой столб исчез. Что делать? Все было пусто. Окна заставлены. Спросить было некого, так как все кочевники уехали в степь, а оседлые жители были неприступны. Я остановился и прислушался. Лаяли в городе собаки, выли волки в степи, цукала выпь в озерных тростниках, стучала колотушка. Я пошел на стук искать сторожа. Но искать колотушку на темной улице все равно, что по звуку ловить сверчка в стене. Не вздумайся сторожу отдохнуть, усевшись верхом на пушке уездного правления, никогда бы

мне его не найти. Он сидел и стучал. Я подошел. Новая беда! Я не знал по-киргизски слов «почтовая станция».

– Здоровы ли руки и ноги, здоров ли скот? – сказал я обычное приветствие.

– Амамба! Аман! – ответил киргиз и спросил о моем скоте.

Я ответил, как и он, спросил подробно о здоровье его овец, лошадей, верблюдов, рассказал все о своем скоте, пользуясь всего только двумя словами «амамба» и «аман», но о почтовой станции узнать не мог ничего. Наконец он взял меня за рукав и куда-то потащил в переулок. Я увидел настежь раскрытые двери и переднюю, освещенную керосиновым фонарем.

– Хош, – сказал киргиз, – прощай!

– Рахмет, – ответил я, – благодарю.

Я вошел в этот дом, чтобы спросить о почтовой станции, и в полутемной зале увидел множество спин и ярко освещенных свечками лиц.

Так я попал в залу общественного собрания и познакомился с интеллигентным населением дикого степного и горного оазиса Каркаралы.

### III

В первое же воскресенье члены клуба в честь меня устроили пикник в горах, где в каменных складках спряталось очень странное озеро. До того причудливы эти глыбы гранита в степных горах, до того тут много трещин, проходов и поворотов, что редко кто может найти это озеро сразу. Все блуждают, и все думают: «черт водит», за то и дали название «Чертово озеро». Рассказывают, будто архиерей, побывав в Каркаралах, пошел с попом и дьяконом освящать озеро. Но и они заблудились и разбрелись в камнях в разные стороны. Помолились с особым усердием и услышали свист кулика. Пошли на свист и вышли к Чертову озеру. Отслужили благодарственный молебен, освятили, поставили на горе каменный крест и назвали «Освященное озеро».

Это было давно, с тех пор крест упал в воду, и озеро по-прежнему стало называться Чертовым.

В этот раз члены клуба добрались благополучно на вершину горы и, утомленные, сели на камнях возле озера, очень похожего на искусственно сложенный бассейн.

Кружились над водой несколько стрекоз. Внизу под хвойной массой лесов летала бабочка, будто обрывок белой бумаги. Кое-где между суровыми соснами и громадами скал гасли в сентябрьском солнце березки. Сколько тут полуразрушенных фантастических замков, дремлющих фигур, изменчивых, как облака: поверженный Мефистофель, коленопреклоненная женщина с молитвенником в руке, и жаба, и верблюд, и громадные, пузатые, с вытаращенными глазами уроды, – все дремали на скале, и все медленно обрастали снизу соснами, как мохом. Где-то вдали никло к степи синее облако. Где-то блестело соленое озеро.

Наш белобородый проводник-киргиз, аксакал, развел на берегу Чертова озера костер и стал готовить из баранины кувардак. Члены клуба, все еще утомленные, глядели в степь – вниз, вдаль.

– Позвольте мне ваш зонтик, – сказал толстый добряк, секретарь уездного съезда, жене помощника лесничего.

– На что вам? – сказала эта единственная между нами дама.

– Раскрою и полечу с вами, – ответил добряк.

Все засмеялись, представляя секретаря летающим.

Посмеялись и помолчали.

– Не улетишь! – вздохнул содержатель соленого озера.

– Не улетишь! – ответили ему многие чиновники.

Не весело жилось им в оазисе, вокруг которого на необъятном степном пространстве люди живут до сих пор, как Авраам, в шатрах, кочуя со стадами.

Не улетишь!

– Велика, велика матушка-степь! – сказал судья, старшина клуба. – Извольте видеть.

Судья солидным разговором захотел подавить невеселое настроение и рассказал, как он ездит на реку Чу, когда там бывает убийство. Человек, извещающий о происшествии, едет месяц к судье. Следующий месяц едет сам судья. За ним гонят табун сменных лошадей и верблюдов с водой. Судья-следователь приезжает на место и видит только кости.

– Зачем же ехать?

– Закон.

В этой стране судья служит только чистой идее закона. Там, возле реки Чу, живут стада кабанов; в камышах водятся тигры. Палатку судьи стерегут, окапывают, чтобы не забрались к нему фаланги и скорпионы. Бураны всегда

могут засыпать судьбу. Опасности на каждом шагу. Но зато с каким же великим торжеством встречают члены клуба своего старшину, когда он является невредимым в начале четвертого месяца после убийства.

– Сказочная страна! – воскликнул я, думая, куда русский может заехать, не выходя из своих пределов. – Фантастическая страна!

– Ничего, ничего, все очень просто! – сказал судья.

– Тигры...

– Обыкновенные тигры.

– Фазаны, дикие кони...

– И это обыкновенно.

– Кочевники, как в Библии, теперь, в наше время...

– А? Ну, так что же? И ведь это же все очень просто.

– Ко всему привыкаешь, – вздохнула жена помощника лесничего.

– Привычка свыше нам дана, – запел агент Зингера, вояжер, вечно стремящийся догнать свои убегающие с губ усы.

Помолчали. Степной голубь, не заметив собравшихся людей, подлетел напиться к Чертову озеру и вдруг ринулся вниз, обратно в степь, мелькал, мелькал крыльями и исчез.

– Пропал! – сказал содержатель соленого озера, очень печальный человек.

Пикник как-то не клеился. Я спросил нашу даму, танцуют ли в клубе.

– Мало, – ответила она. Кому хочется жизни – уезжают отсюда, остаются все некрасивые, мало танцуют, и как-то у них все не ладится.

– Одно слово Каркаралы, – сказал цветущий помощник уездного начальника. – Ведь это, батенька мой, те же тартарары, да еще почище; сюда заехал, как под стену попал.

– Что значит это слово? – спросил я членов клуба. Никто не знал.

– Ты не знаешь ли, аксакал? – спросили мы старика киргиза у костра.

– Каркара, – ответил он, – значит черное перо; в этих горах красавица Баян оставила черное перо из своего головного убора.

– Какая Баян? Расскажи! – заговорили члены клуба.

– Видите вы эти синие горы? – спросил старик.

– Видим, видим, – ответили мы.

– За этими горами есть еще синие горы, а за теми



горами еще пять синих гор. На последней горе Карыбай и Сарыбай увидели беременную козу. «Слушай, душа моя, – сказал Карыбай, – у меня жена беременна, я не буду стрелять эту козу». – «И ты слушай, душа моя, – ответил Сарыбай, – у меня тоже жена беременна, и я не буду стрелять беременную козу». Карыбай и Сарыбай не стали стрелять беременную козу и поклялись: если родятся мальчики, будут братьями, если девочки – сестрами, если мальчик и девочка – женихом и невестой.

– Джаксы? – спросил старик.

– Джаксы, аксакал, – одобрил учитель.

– Очень, очень интересно, – одобрила жена помощника лесничего.

Старик продолжал.

– Видите вы эту долину с сухой рекой?

– Видим, – отвечали мы.

– Вон идет караван верблюдов. Я вижу, перед ним летит туча черных скворцов. Карыбай и Сарыбай увидели: с неба спускается к ним черный скворец: «Душа моя, – сказал Карыбай, – это – посланник божий. Он нам предвещает жизнь. Видишь, идут джигиты; слышишь, кричат нам?» – «Слышу, душа моя, слышу, – ответил Сарыбай, – они кричат нам, что родились дети. Но смотри, посланник божий опустился мне на плечо. И жизнь, и смерть предвещает черный скворец». Сарыбай сказал, конь оступися, всадник упал на скалу и умер. А Карыбай испугался, взял свою дочь и уехал от вдовы Сарыбая. Но когда он уезжал, то перед его верблюдами летела туча черных скворцов. Видите, вы черных птиц?

– Видим. Дальше, аксакал!

– Невесту звали Баян-Слу, – продолжал старик, – а жениха Козу-Корпеч. Они жили далеко друг от друга и выросли. Он стал батырь, она – красавица. Лучшие женихи сватались за Баян, но она говорила: «У меня есть жених, он придет, когда у него отрастет золотая коса». И потому, кочуя со стадами, Баян оставляла ему приметы: в горах Алтын-Тарак она оставила золотой гребень, в наших горах Каркаралы она оставила черное перо из головного убора. Джаксы?

– Очень, – одобрил даже и судья.

– Замечательно, – заговорили другие, – как это мы раньше ничего не знали. Так вот что значит Каркаралы. Ну, что же дальше?

– Дальше. Видите, вы эти пятна в долине? Что это?

– Табуны.

– Нет, это – овцы. У Баян было много овец и коз. Молодой пастух нанялся к ней пасти овец и коз: пас хорошо, стадо размножилось; Баян полюбила этого молодого пастуха. Очень полюбила. Но как-то раз у любимой козы сломалась нога. Баян рассердилась и ударила пастуха по голове. Шапка упала, и сверкнула золотая коса. Молодой пастух был Козу-Корпеч. Джаксы?

– Дальше!

– Когда киргизский батырь Козу-Корпеч лег отдыхать в долине Чок-Терек, злой калмыцкий батырь Кудар-Кул убил его и взял голову и отдал красавице Баян. Невеста пришла с головой жениха в долину Чок-Терек и молила бога воскресить его на три дня. Козу-Корпеч воскрес, и невеста оставалась с ним, как жена, три дня в долине Одинокого Тополя, Чок-Терек. Джаксы?

– Дальше, дальше!

– Дальше: перед третьей зарей умер батырь Козу-Корпеч. Баян поклялась отомстить. Обещала выйти за калмыцкого батыря и просила его только достать воды из глубокого колодца. Спустила туда свою косу, и когда по ней батырь спустился – засыпала колодец землей. Проезжему начальнику каравана обещала выйти замуж, если он сложит над Козу-Корпеч высокую могилу и бросится вниз. Начальник каравана бросился и умер. Всем храбрым юношам каравана обещала быть женой, если осмелятся броситься. И все бросались и умирали. Потом она вошла в могилу своего жениха Козу-Корпеч и заколола себя кинжалом.

– Все, аксакал?

– Все, – ответил старик, – только вот смотрите на эти далекие синие горы. Видите? За этими горами есть еще десять гор и потом гладкая степь. Возле дороги там и теперь стоит могила Баян-Слу и Козу-Корпеч.

– Так разве все это правда? – сказали мы.

– Раз! – ответил старик. – Все это правда.

#### IV

Члены клуба оживились. Страна Арка, хребет земли, которую пастухи считают лучшей в мире страной, была возле нас.

– Степь ведь такое дело, – сказал секретарь уездного съезда, – где еще есть на земле такое место? Вот я, как есть,

возьму плетку, сел на коня и пропал, и знаю, что не помру, каждый меня примет, живи хоть неделю, хоть две.

– Хоть месяц! – сказал агент Зингера.

– Хоть год! – воскликнул учитель.

– Сколько хочешь живи, – заговорили все и вспомнили про политического ссыльного, как он жил в городке и вдруг ушел в степь и там пропал.

– Может быть, умер? – спросил я.

– Жив! – сказали все.

«Есть такая страна, где можно быть и не быть», – думали мы. Кувардак наконец поспел; откупорили бутылки, чокнулись; радостное настроение все возрастало.

Есть за этими синими горами страна Арка.

– Есть! – восторженно говорил содержатель соленого озера, уже подвыпивший.

– Есть, есть! – чокались мы.

– Господа, а кто нам это открыл? – сказала жена помощника лесничего, указывая на меня. – Ведь это гость наш, он первый спросил аксакала, что значит Каркаралы.

– Ваше здоровье! – чокались со мной.

– Освежили, очень, очень освежили! Господа, мы попросим гостя написать свое имя на камне.

– Непременно!

– Извините, господа, карандаш у меня обыкновенный, а скалы такие большие.

– Мы увеличим!

– Охота, путешествие! – ликовал добрый толстяк, восторженно глядя на меня. – Господа, да неужели же опять в клуб катить шары, играть в карты?

– Верно, – поддержали охотники, – еще обыграют и не проспидься, а на охоту сходил – придешь свеженький.

– А лучше всего, господа, – сказал учитель, – книжечку почитать.

– Освежили, очень, очень освежили!

В общем, пикник сошел хорошо. Поддерживая друг друга и следуя за трезвым старшиной клуба, мы благополучно спустились в глубину оазиса.